

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Гем)-44
Р37

Erich Maria Remarque
DER SCHWARZE OBELISK

Перевод с немецкого *В. Станевич*

Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette
Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary
Agency и Synopsis.

Ремарк, Эрих Мария.

Р37 Черный обелиск : [роман] / Эрих Мария Ремарк ;
[перевод с немецкого В. Станевич]. — Москва: Изда-
тельство АСТ, 2019. — 416 с.

ISBN 978-5-17-119351-5 (С.: Лучшая мировая классика)
Серийное оформление и компьютерный дизайн В. Воронина

ISBN 978-5-17-080674-4 (С.: Зарубежная классика)
Оформление С. Власова
Компьютерный дизайн Ю. Мардановой

Их называли «потерянным поколением». И они действительно
потеряли все — или почти все?

Что же у них осталось? Верная дружба — и спасительная ирония.
Потому что иначе невозможно ни выжить в «стране, охваченной кри-
зисом», ни выстоять перед «житейски-алкогольно-любковыми труд-
ностями» — ни, наконец, выгодно продать никому не нужный над-
гробный черный обелиск!..

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Вел)-44

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1962
© Перевод. В. Станевич, наследники, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

I

Солнце заливает светом контору фирмы по установке надгробий «Генрих Кроль и сыновья». Сейчас апрель 1923 года, и дела идут хорошо. Весна не подкачала, мы торгуем блестяще, распродаем себе в убыток, но что поделаешь — смерть немилосердна, от нее не ускользнешь, однако человеческое горе никак не может обойтись без памятников из песчаника или мрамора, а при повышенном чувстве долга или соответствующем наследстве — даже из отполированного со всех сторон черного шведского гранита. Осень и весна — самый выгодный сезон для торговцев похоронными принадлежностями: людей умирает больше, чем летом и зимой; осенью — потому, что силы человека иссякают, весной — потому, что они пробуждаются и пожирают ослабевший организм, как слишком толстый фитиль тощую свечу. Так по крайней мере уверяет самый усердный из наших агентов, могильщик Либерман с городского кладбища, а уж ему ли не знать: старику восемьдесят лет, он предал земле свыше десяти тысяч трупов, на коммиссионные по установке надгробий обзавелся собственным домом на берегу реки, садом, прудом с форелью; профессия могильщика сделала его философствующим пьяницей. Единственное, что он ненавидит, — это городской крематорий. Крематорий — нечестный конкурент. Мы тоже его недолюбливаем: на урнах ничего не заработаешь.

Я смотрю на часы. Скоро полдень, и, так как сегодня суббота, я заканчиваю свой трудовой день. Нахлобучиваю жестяной колпак на машинку, уношу за занавеску аппарат «Пре-

сто», на котором мы размножаем каталоги, убираю образцы камней и вынимаю из фиксажа фотоснимки с памятников павшим воинам и с художественных надгробных украшений. Я бухгалтер фирмы, художник, заведующий рекламой и вообще вот уже целый год состою единственным служащим нашей конторы, хотя я отнюдь не специалист.

Предвкушая наслаждение, достаю из ящика стола сигару. Это черная бразильская. Представитель Вюртембергского завода металлических изделий утром угостил меня этой сигарой, а потом попытался навязать мне партию бронзовых венков. Следовательно, сигара хорошая. Я ищу спички, но, как обычно, коробок куда-то засунули. К счастью, в печке есть еще жар. Я скатываю трубочкой бумажку в десять марок, подношу ее к углям и от нее закуриваю сигару. Топить печку в апреле, пожалуй, уже незачем; это одно из коммерческих изобретений моего работодателя Георга Кроля. Ему кажется, что когда люди скорбят и им еще приходится выкладывать деньги, то легче это сделать в теплой комнате, чем в холодной. Ведь от печали и без того знобит душу, а если к тому же у людей ноги стыннут, трудно бывает выжать хорошую цену. В тепле все оттаивает — даже кошелек. Поэтому в нашей конторе всегда жарко натоплено, а нашим агентам рекомендуется зарубить себе на носу: никогда не пытаться заключать сделки в дождь и в холод на кладбище — только в теплой комнате и по возможности после обеда. При таких сделках скорбь, холод и голод — плохие советчики.

Я бросаю обгоревшую десятимарковую бумажку в печку и встаю. И тут же слышу, как в доме напротив распахивают окно. Мне незачем смотреть туда, я отлично знаю, что там происходит. Осторожно наклоняюсь над столом, словно еще вожусь с пишущей машинкой. При этом искоса заглядываю в ручное зеркальце, которое пристроил так, чтобы в нем отражалось упомянутое окно. Как обычно, Лиза, жена мясника Вацек, стоит там в чем мать родила, зевает и потягивается. Она только сейчас поднялась с постели. Наша улочка старинная, узкая, Лизу нам отлично видно, а ей — нас, и она это знает. Поэтому и становится перед окном. Вдруг ее большой рот растягивается в улыбку, сверкая зубами, она раздражается хохотом и указывает на мое зеркальце. Ее зоркие глаза хищной птицы

заметили его. Я злюсь, что пойман с поличным, но делаю вид, будто ничего не замечаю, и, окружив себя облаком дыма, отхожу в глубь комнаты. Лиза усмехается. Я выглядываю в окно, но не смотрю на нее, а притворяюсь, будто киваю кому-то идущему по улице. В довершение посылаю ему воздушный поцелуй. Лиза попадает на эту удочку. Она высовывается из окна, чтобы посмотреть, с кем же это я здороваюсь. Но никого нет. Теперь усмехаюсь я. А она сердито стучит себя пальцем по лбу и исчезает.

Собственно говоря, не известно, зачем я разыгрываю всю эту комедию. Лиза, что называется, «роскошная женщина», и я знаю многих, кто охотно платил бы по несколько миллионов за то, чтобы наслаждаться каждое утро подобным зрелищем. Я тоже наслаждаюсь, но все же меня злит, что эта ленивая жаба, вылезая из постели только в полдень, так бесстыдно уверена в своих чарах. Ей и в голову не приходит, что не всякий сию же минуту возжаждет переспать с ней. Притом ей, в сущности, это довольно безразлично. Лиза продолжает стоять у окна, у нее черная челка, подстриженная, как у пони, дерзко вздернутый нос, и она поводит грудями, словно изваянными из первоклассного каррарского мрамора, точно какая-нибудь тетка, помахивающая погремушками перед младенцем. Будь у нее вместо груди два воздушных шара, она так же весело выставила бы их напоказ. Но Лиза голая, и поэтому она выставляет не шары, а груди, ей все равно. Просто-напросто она радуется, что живет на свете и что все мужчины непременно должны сходить по ней с ума. Затем она об этом забывает и набрасывается прожорливым ртом на завтрак. А тем временем мясник Вацек устало приканчивает несколько старых извозчичьих кляч.

Лиза появляется снова. Она налепила себе усы и в восторге от столь блистательной выдумки. Она по-военному отдает честь, и я готов допустить, что ее бесстыдство предназначается старику Кнопфу, фельдфебелю в отставке, проживающему поблизости, но потом вспоминаю, что в спальне Кнопфа только одно окно и оно выходит во двор. А Лиза достаточно хитра и понимает, что из соседних домов ее не видно.

Вдруг, словно где-то прорвав плотину тишины, зазвонили колокола церкви Девы Марии. Церковь стоит в конце улиц-

ки, и звуки так оглушают, точно валятся с неба прямо в комнату. В то же время я вижу, как мимо второго окна нашей конторы, выходящего во двор, проплывает, словно фантастическая дыня, лысая голова моего работодателя. Лиза делает неприличный жест и захлопывает свое окно. Ежедневное искушение святого Антония еще раз преодолено.

Георгу Кролю ровно сорок лет, но его лысая голова уже блестит, точно шар на кегельбане в саду пивной Боля. Она блестит с тех пор, как я его знаю, а познакомился я с ним пять лет назад. Лысина эта так блестит, что, когда мы сидели в окопах — а мы были в одном полку, — командир отдал особый приказ, чтобы Георг, даже при полном затишье на фронте, не снимал каски, ибо слишком силен был соблазн для самого благодушного противника проверить с помощью выстрела, не огромный ли это бильярдный шар.

Я щелкаю каблуками и докладываю:

— Главный штаб фирмы «Кроль и сыновья»! Пункт наблюдения за действиями врага. В районе мясника Вацека подозрительное передвижение войск.

— Ага, — отвечает Георг. — Лиза делает утреннюю зарядку. Вольно, ефрейтор Бодмер! Почему не надеваете по утрам шоры, как у лошади в кавалерийском оркестре, и не оберегаете таким способом свою добродетель? Разве вы не знаете, каковы три самые большие драгоценности нашей жизни?

— Откуда же я могу знать, господин обер-прокурор, если я и самой жизни-то не видел?

— Добродетель, юность и наивность! — безапелляционно заявляет Георг. — Если их утратишь, то уж безвозвратно! А что на свете безнадежнее многоопытности, старости и холодного рассудка?

— Бедность, болезнь и одиночество, — отзываюсь я и становлюсь вольно.

— Это только другие названия для опыта, старости и заблуждений ума.

Георг вынимает у меня изо рта сигару, мгновение смотрит на нее и определяет, как опытный коллекционер бабочку:

— Добыча взята на фабрике металлических изделий.

Он извлекает из кармана чудесно осмугленный дымом золотисто-коричневый мундштук из морской пенки, вставляет в него мою бразильскую сигару и продолжает ее курить.

— Ничего не имею против конфискации сигары, — заявляю я. — Хотя это грубое насилие, но ты, как бывший унтер-офицер, ничего другого в жизни не знаешь. Все же зачем тебе мундштук? Я не сифилитик.

— А я не гомосексуалист.

— Георг, — продолжаю я, — на войне ты моей ложкой борщевый суп хлелал, когда мне удавалось выкрасть его из кухни. А ложку я прятал за голенище грязного сапога и никогда не мыл.

Георг смотрит на пепел сигары. Пепел бел как снег.

— После войны прошло четыре с половиной года, — наставительно отвечает он. — Тогда безмерное несчастье сделало нас людьми. А теперь бесстыдная погоня за собственностью снова превратила в разбойников. Чтобы это замаскировать, нам опять нужен лак хороших манер. Ergo!* Нет ли у тебя еще одной сигары? Эта фабрика никогда не позволит себе подкупать служащих одной сигарой.

Я вынимаю из ящика стола вторую сигару и отдаю ему.

— Ум, опытность и старость все же иногда идут на пользу, — замечаю я.

Он усмехается и вручает мне взамен сигар пачку сигарет, в которой недостает шести штук.

— А что произошло еще? — осведомляется он.

— Ничего. Клиентов не было. Но я вынужден настоятельно просить о повышении моего оклада.

— Опять? Ведь тебе только вчера повысили!

— Не вчера. Сегодня утром в девять часов. Какие-то несчастные восемь тысяч марок! И все-таки в девять утра это было еще кое-что. А потом объявили новый курс доллара, и я теперь уже не могу на них купить даже галстук, только бутылку дешевого вина. А мне необходим именно галстук.

— Сколько же стоит доллар сейчас?

— Сегодня в полдень он стоил тридцать шесть тысяч марок! А утром всего тридцать тысяч!

Георг Кроль рассматривает свою сигару.

* Следовательно! (лат.)

— Уже тридцать шесть тысяч! Дело идет быстрее кошачьего романа! Чем все это кончится?

— Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, — отвечаю я. — А пока надо жить. Ты денег принес?

— Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра. Тысячные и сотысячные билеты и даже несколько пачек с милыми старыми сотенными. Около двух с половиной кило бумажных денег. Инфляция растет такими темпами, что государственный банк не успевает печатать денежные знаки. Новые банкноты в сто тысяч выпущены всего две недели назад, а теперь скоро выпустят бумажки в миллион. Когда мы будем считать на миллиарды?

— Если так пойдет дальше, то всего через несколько месяцев.

— Боже мой! — вздыхает Георг. — Где прекрасные спокойные дни 1922 года? Доллар поднялся в тот год с двухсот пятидесяти марок всего до десяти тысяч. Уже не говоря о 1921-м — тогда это были какие-то несчастные триста процентов.

Я выглядываю на улицу. Лиза стоит у окна, теперь она в шелковом халате, на котором изображены попугаи. Зеркало она повесила на шпингалет и приглаживает щеткой свою гриву.

— Взгляни на это создание, — с горечью восклицаю я. — Оно не сеет, не жнет, но отец небесный все же питает его. Вчера у нее этого халата еще не было. Шелк! Несколько метров! А я не могу наскрести какие-то жалкие гроши на один несчастный галстук.

Георг улыбается.

— Что ж, ты скромная жертва эпохи. А Лиза на всех парусах плывет по волнам немецкой инфляции. Она — прекрасная Елена спекулянтов. На продаже могильных камней не разживешься, сын мой. Почему ты не перейдешь на сельди или на торговлю акциями, как твой дружок Вилли?

— Оттого что я сентиментальный философ и сохраняю верность надгробиям. Ну так как насчет повышения жалованья? Ведь и философам все же приходится одеваться.

— Неужели ты не можешь купить галстук завтра?

— Завтра воскресенье. И он мне нужен именно завтра.

Георг приносит из прихожей свой чемодан. Открыв его, бросает мне две пачки денег.

— Хватит?

Я вижу, что в них главным образом сотни.

— Добавь еще полкило этих обоев, — говорю я. — Здесь самое большое пять тысяч. Спекулянты-католики по воскресеньям, во время обедни, кладут столько на тарелочку да еще стыдятся своей скупости.

Георг скребет себе голый затылок — атавистический жест, утративший в данном случае всякий смысл. Затем дает мне третью пачку.

— Слава Богу, что завтра воскресенье, — говорит он. — Никакого нового курса на доллар не будет. Единственный день недели, когда инфляция приостанавливается. Конечно, Господь Бог не это имел в виду, создавая воскресенье.

— А как мы? — осведомился я. — Уже банкроты или наши дела идут блестяще?

Георг делает длинную затяжку из своего мунштука:

— Мне кажется, никто сейчас в Германии ничего на этот счет о себе уже сказать не может. Даже божественный Стиннес. Скопидомы разорены. Рабочие и люди, живущие на жалованье, — тоже. Большинство мелких коммерсантов — тоже, хотя они об этом еще не догадываются. Блестяще наживаются только те, у кого есть векселя, акции или крупные реальные ценности. Следовательно, не мы. Ну как? Уразумел?

— Реальные ценности! — Я смотрю в сад, где стоит наша продукция. — У нас в самом деле не бог весть что осталось. Главным образом надгробия из песчаника и чугуна. Но мрамора и гранита маловато. А то немного, что есть, твой брат распродаст с убытком. Может быть, самое лучшее совсем ничего не продавать, а?

Георгу незачем отвечать. На улице звенит велосипедный звонок. Слышны шаги, кто-то поднимается по дряхлым ступенькам. По-хозяйски откашливается. Это Генрих Крольмладший, совладелец фирмы — виновник наших постоянных забот и тревог.

Генрих — невысокий, плотный мужчина с соломенного цвета усами; на нем полосатые пропыленные брюки, стянутые у щиколотки велосипедными зажимами. Он окидывает меня и Георга быстрым неодобрительным взглядом. В его

представлении мы — ленивые жеребцы, весь день лодырничаем, а вот он — человек дела, поддерживающий внешние связи фирмы, к тому же несокрушимого здоровья. Ежедневно, едва рассветет, Кроль-младший отправляется на вокзал и потом мчится на велосипеде в самые отдаленные деревни, если наши агенты — могильщики или учителя сельских школ — заявят о чьей-либо смерти. Он довольно обходителен, а его дородность вызывает к нему доверие; поэтому он с помощью двух кружек пива, неизменно вкушаемых утром и под вечер, поддерживает себя на должном уровне. Крестьяне предпочитают низеньких толстяков изголодавшимся верзилам. И костюм у него соответствующий. Он не носит ни черного сюртука, как его конкурент — агент Штейнмейера, ни синего костюма, как разъездные агенты фирмы «Хольман и Клотц», — сюртук слишком напоминает о трауре, синюю пару все носят. Генрих Кроль обычно появляется в выходном костюме — полосатые брюки, черно-серый пиджак, старомодный стоячий воротничок с уголками и галстук матовых колеров, с преобладанием черного. Два года назад, именно когда он заказывал этот костюм, у него возникло минутное колебание и он задал себе вопрос — не уместнее ли будет визитка, но тут же отверг эту мысль, ибо был слишком мал ростом. Такой отказ он считал для себя даже лестным; ведь и Наполеон был бы смешон, надень он фрак. А в этой одежде Генрих Кроль поистине выглядит скромным уполномоченным Господа Бога — как оно и должно быть. Велосипедные зажимы придают его облику что-то домашнее и вместе с тем спортивное: в наш век автомобилей кажется, что у таких людей можно купить дешевле.

Генрих снимает шляпу и вытирает лоб платком. На улице довольно прохладно, и он отнюдь не вспотел: он делает это, только желая подчеркнуть, что вот он — чернорабочий, обремененный тяжелым трудом, мы же — канцелярские крысы.

— А я наш мраморный крест продал, — заявляет он с приторной скромностью, за которой чувствуется безмолвный рев торжества.

— Какой? Тот маленький? — осведомляюсь я тоном, полным надежды.

— Нет, большой, — отвечает Генрих с еще большей скромностью и смотрит на меня в упор.

— Что? Большой крест из шведского гранита с двойным цоколем и бронзовыми цепями?

— Вот именно. А разве у нас есть еще другие?

Генрих наслаждается своим глупым вопросом, он считает его вершиной саркастического юмора.

— Нет, — отвечаю я. — Других у нас уже нет. В том-то и беда! Этот был последним. Гибралтарская скала.

— За сколько же ты продал? — осведомляется Георг Кроль.

Генрих потягивается.

— За три четверти миллиона, без надписи, без доставки и без ограды. Это все — дополнительно.

— Господи! — восклицаем мы с Георгом одновременно.

Генрих смотрит на нас вызывающе — у дохлой пикши бывает иногда такое выражение.

— Да, бой был нелегким, — говорит он и почему-то опять надевает шляпу.

— Лучше бы вы проиграли его, — отвечаю я.

— Что?

— Проиграли бы этот бой.

— Что? — сердито повторяет Генрих. Я легко вызываю его раздражение.

— Он жалеет, что ты продал крест, — поясняет Георг Кроль.

— Жалеет? Как прикажешь это понимать? Черт бы вас побрал! Мотаешься с утра до ночи, продаешь блестяще, и тебя же в этой лавчонке еще встречают упреками! Поездите-ка сами по деревням и попробуйте...

— Генрих, — кротко прерывает его Георг. — Мы же знаем, что ты из кожи вон лезешь, но мы живем сейчас в такое время, когда продажи разоряют. В стране уже давно инфляция. С тех пор как кончилась война. Но в этом году инфляция усиливается и развивается как скоротечная чухотка. Поэтому цифры уже не имеют никакого значения.

— Это я и без тебя знаю. Я же не идиот.

Ни один из нас не возражает. Только идиоты утверждают, что они не идиоты. Противоречить им бесполезно. Я знаю это на основании тех воскресений, которые провожу в лечебнице для душевнобольных. Генрих вытаскивает из кармана записную книжку.

— При покупке памятник с крестом обошелся нам в пятьдесят тысяч. А продали мы его за три четверти миллиона — кажется, прибыль неплохая.

Он снова барахтается в мелководье тупых сарказмов. Генрих считает, что должен воспользоваться случаем и поддеть меня — ведь я когда-то был школьным учителем. Вскоре после войны я в течение девяти месяцев учил ребят в глухой степной деревне, пока не бежал оттуда, преследуемый по пятам воющим псом зимнего одиночества.

— Еще выгоднее было бы, если бы вы вместо нашего великолепного креста продали вон тот чертов обелиск, который торчит перед окном, — говорю я. — Судя по рассказам, ваш покойный папаша шестьдесят лет назад, при основании фирмы, приобрел его еще дешевле — за какие-нибудь пятьдесят марок.

— Обелиск? Какое отношение обелиск имеет к нашему делу? Обелиск продать нельзя, это понятно каждому младенцу.

— Именно поэтому его было бы и не жаль, — настаиваю я. — А крест жаль. Нам придется за большие деньги выкупить его обратно.

Генрих Кроль отрывисто сопит. В его толстом носу сидят полипы, и нос легко распухает.

— Может быть, вы вздумаете уверять меня, что сейчас можно выкупить такой крест за три четверти миллиона?

— Это мы скоро узнаем, — замечает Георг Кроль. — Завтра приезжает Ризенфельд. Нам придется делать новый заказ Оденвэльдскому гранитному заводу; на складе у нас осталось мало гранитных памятников.

— Ну, у нас есть еще обелиск, — коварно вставляю я.

— Почему же вы тогда сами не продаете? — задыхаясь от возмущения, спрашивает Генрих. — Значит, Ризенфельд приезжает завтра утром? Тогда и я останусь дома и сам с ним переговорю! Посмотрим, каковы цены!

Мы с Георгом обмениваемся взглядами. Мы отлично понимаем, что нельзя допускать встречи Ризенфельда с Генрихом, даже если придется напоить Генриха пьяным или подмешать касторки в его воскресную кружку пива. Этот честный, но допотопный делец нестерпимо надоел бы Ризенфельду своими воспоминаниями о войне и рассказами о добром

старом времени, когда марка была маркой и верна себе, а верность была основой чести, как превосходно выразился наш обожаемый фельдмаршал. Генрих очень высокого мнения о подобных пошлостях, Ризенфельд — нет. Ризенфельд считает верностью то, когда другие выполняют по отношению к нам обязательства, которые им невыгодны, а для нас — когда мы выполняем то, что нам выгодно.

— Цены меняются каждый день, — говорит Георг. — Тут и спорить не о чем.

— Ах так? Может быть, и ты считаешь, что я продешевил?

— Смотря по обстоятельствам. Деньги привез?

Генрих смотрит на Георга, вытаращив глаза.

— Привез? Опять новая выдумка? Как я мог их привезти, если мы креста еще не доставили? Это же невозможно!

— Это не невозможно, — отвечаю я, — а, напротив, теперь очень принято. И называется — уплатить деньги вперед.

— Деньги вперед! — Генрих презрительно морщит толстый нос. — Что вы, школьный учитель, понимаете? Как можно в нашем деле требовать денег вперед? От скорбящих родственников? Когда венки на могиле не успели завянуть? А вы хотите требовать денег за то, что еще не доставлено?

— Конечно! А когда же? В такие минуты люди становятся мягче и деньги из них легче выжать.

— Становятся мягче? Ну что вы понимаете! Да они в такие минуты тверже, чем сталь! Они ведь только что заплатили врачу, священнику, за гроб, за могилу, за цветы, устроили поминки... И они вам, молодой человек, десяти тысяч вперед не дадут! Людям надо сначала опомниться, им нужно сначала убедиться, что этот самый памятник, который они заказали, действительно стоит на кладбище, увидеть его там, а не на бумаге в каталоге, даже если надписи и скорбящих родственников в придачу вы намалюете китайской тушью и золотом.

Опять бестактность, типичная для Генриха! Но я на нее не обращаю внимания. Верно, для нашего каталога я не только нарисовал надгробия и размножил рисунки на «Престо», но, чтобы усилить воздействие, раскрасил их и воссоздал «настроение» — плачущие ивы, клумбы анютиных глазок, кипарисы и вдов под траурной вуалью, поливающих цветы. Конкуренты чуть не лопнули от зависти, когда мы завели это нов-